

18+

АЛЕКСЕЙ ИВИН

Исчезновение

РОМАН



Алексей Ивин

Исчезновение. роман

«Издательские решения»

Ивин А.

Исчезновение. роман / А. Ивин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-742833-4

Роман «Исчезновение» создан в самую глухую пору «застоя» и отражает жизнь и увядание молодых и свежих российских сил в провинциальном городке. Здесь возможны самые глубокие превращения, но как выйти к свету, к семейному счастью и свободе тому, кто связан по рукам и ногам абсурдными условиями существования?

ISBN 978-5-44-742833-4

© Ивин А.

© Издательские решения

Содержание

Глава первая, от рассказчика. Дерзай – и счастье улыбнется	6
Глава вторая, от Савелия	10
Глава третья, от Савелия	11
Глава четвертая, от Савелия	12
Глава пятая, от рассказчика. Легко ли быть талантливым	13
Глава шестая, от Савелия	18
Глава седьмая, от Савелия	21
Глава восьмая, от Савелия	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Исчезновение

роман

Алексей Ивин

© Алексей Ивин, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

Повесть написана в 1977 году. Она была отвергнута в 1980-х годах издательством «Советский писатель» (редакторы Вл. Клименко, Игорь Николенко, рецензенты Л. Левин, Г. Илатовская), журналом «Новый мир» (рецензенты В. Непомнящий, Н. Климонтович), издательством «Современник» (редакторы О. Финько, А. Ефимов, рецензент А. П. Иванов), журналом «Литературная учеба» (рецензент М. К. Есенина), издательством «ОЛМА-Пресс» (редактор Б. Н. Кузьминский, рецензент Олег Дарк), а недавно также журналом «Москва» (редакторы Е. М. Устинова, Л. И. Бородин, рецензент Б. Юрин). Журнал «Москва» уже полвека хвастает, что они через 25 лет после написания издали «Мастера и Маргариту». Но опубликовать через 30 лет повесть Ивина у них оказалась кишка тонка. Подмажьте, господа книжные издатели России, подмажьте меня: совсем не еду. 30 лет не еду, не о том пишу и не так. – А. ИВИН

Друзьям детства – Владимиру Воробьеву, Василию Горынцеву, Валерию Черепанову – с неизменной симпатией и воспоминаниями о тех славных днях.

Глава первая, от рассказчика. Дерзай – и счастье улыбнется

Свой банальный рассказ о банальной жизни логатовского недоумка и неудачника Савелия Катанугина мне хотелось бы начать с общих рассуждений. Сейчас уже трудно даже понять, где причина, а где следствие: то ли наша общественная жизнь от Рюриковичей так устроена, что плодит неудачников, мечтателей, юродивых, то ли, наоборот, они-то и образуют то социальное устройство, которым мы ныне располагаем. Иные даже утверждают, что таков наш национальный характер, и приводят в доказательство народные сказки об Иванушке-дурачке и Емеле. А иные вообще склонны думать, что разрушен генетический фонд народа, и ищут виновных, которые против него злоумышляли; и даже называют поименно: из вольных каменщиков Жозефа де Местра (а может, Ксавье?), из евреев же чаще других Льва Троцкого. Я же во всяком случае думаю, что по Сеньке и шапка, и в дальнейшем, по крайней мере в этой повести, политических вопросов касаться не буду. Эти терпеливые, совершенно нищие духом люди, зачастую просто инвалиды, признаюсь, интересуют меня гораздо больше, чем борцы, руководители народных масс, энтузиасты, которым как бы уже заранее обеспечено место в нашей славной кровопролитной истории. Интересуют до такой степени, что, бывая в родных местах, в глухом северном городке, я всякий раз навещаю своего друга однофамильца, хромого, рябого, прыщеватого, рыжего пьяницу В., который работает грузчиком на пристани, в свои сорок не женат и снимает угол у старухи (буквально угол, т. е. пространство, отгороженное занавеской). Я подолгу с ним беседую на различные темы и ухожу в самом приятном расположении духа, думая, какой же я, по сравнению с ним, счастливчик, везунчик и доброхот. И даже, может быть, предприниматель и благотворитель (в случае, если распиваем принесенную мною бутылку вина).

Вот и Савелию Катанугину в жизни не слишком везло. Бывают же такие люди: сядет – стул сломает, подойдет к витрине – стекло разобьет, ложку-вилку держать не умеет, хватает по-медвежьи и мизинец забывает оттопыривать; везде моветон.

С женой Диной и с ребенком он снимал в Логатове комнату у девятидесятилетней старухи, шестнадцать квадратных метров. Рамы в окнах сгнили и, когда начинался дождь, на подоконниках скапливались лужицы, которые стекали на пол, когда-то крашеный (краска обшарпалась, обнажив щелеватые половицы). Дина брала тряпку и, пока он сидел на диване с книгой или просто так (некуда деваться), убирала воду, выжимала тряпку на кухне досуха, а затем, может быть, от внутренней злости на мужа-бездельника, который, когда она выводила его из оцепенения, сердился и говорил, что ему мешают практиковать йогу, а может быть, потому что в ней загоралась надежда раз и навсегда упорядочить свой быт, навести лоск, начинала обтирать стол и закопченные стены, снимала паутину с углов, расставляла посуду в кухонном шкафу, скоблила раковину под умывальником, – работала, пока не кончался дождь, работоспособная, как корабль пустыни – верблюд. Впрочем, она охотнее отождествляла себя с ломовой лошастью, тем более что родилась в год Лошади. А работоспособность у нее повышалась именно во время дождей, и она объясняла это перепадом атмосферного давления. Так вот: как только он иссякал, этот дождь, выглядывало блестящее умытое влажное солнце и темная, косая, сорванная с петель калитка лоснилась в его лучах, как лакированная, – Дина со вздохом присаживалась на кровать, пусто и сочувственно смотрела на мужа и напоминала, чтобы он завтра сходил похлопотать насчет квартиры:

– Так не может больше продолжаться, Савелий. Я устала. Вот ты говоришь, что все понимаешь; ты и в самом деле многое понимаешь. Пойми: нам, бабам, хочется жить красиво, чтобы все было на месте. А у нас ведь не жилье, а цыганский табор. У меня такое ощущение, что тебе на все наплевать.

Он откладывал книгу, нетерпеливо оглядываясь, чем бы заложить страницу. Постоянной закладки не было, и всякий раз в этот момент он сожалел, что все не соберется ее вырезать, да что там – вырезать: просто взять конфетную обертку или полоску фольги из-под шоколада. Но ничего этого не оказывалось под рукой, и он загибал верхний угол, досадуя, что портит книгу, и только потом обращал отрешенный взгляд на жену, видел ее усталые руки, сложенные на коленях, видел сочувственный взгляд (так дети рассматривают хромого воробья или раздавленную лягушку), понимал, что от него чего-то хотят, и ему становилось тоскливо. Он обещал, что сходит, непременно завтра сходит в домоуправление и потребует, черт побери, чтобы им дали хотя бы двухкомнатную квартиру, обрисует этой толстухе, которая заправляет там, их ужасное положение, скажет, что дом аварийный и в любой момент может рухнуть, и не отступится, пока не вырвет ордер на новую квартиру, потому что это, в конце концов, издевательство и посягновение на личность. Он воодушевлялся, отвердевал душой, и Дина, почувствовав это, примирительно улыбалась, говорила: «Ну ладно, милый, мы это еще обсудим!» – и призывала к себе, чтобы поцеловать.

Он уже несколько раз заходил в домоуправление, но безрезультатно; впрочем, он не был достаточно настойчив и всякий раз сомневался, что возможен благоприятный исход его визита.

Дина знала, что мужа следует раскачать, настропалить, чтобы он начал действовать. Однажды вечером она предприняла очередную такую массированную атаку, но замиряться не стала, верно рассчитав, что утром он проснется ожесточенный этой размолвкой и пойдет в домоуправление скандалить. Проснулся он, и правда, хмурый, молча позавтракал и, уже шагнув через порог, сказал: «Ну, я ей сегодня устрою истерику!» Имелась в виду Аделаида Семеновна Барановская.

Катанугин снимал квартиру в Заречье, в той части города, где новое строительство не велось и преобладали одноэтажные деревянные дома с приусадебными участками. Здесь жили в основном пенсионеры, возделывали свои садики и огороды, а урожай продавали на городском рынке по сходной цене. Весной разлившаяся река затопляла низменные берега и подбиралась к самой ограде, окружавшей ветхую избенку Марии Романовны Подколзиной, дочери известного в городе до революции купца Романа Подколзина. В солнечный день она, в черном, до пят, пальто и валенках выползала посидеть на скамейке перед домом, и когда как-то раз Катанугин из вежливости поинтересовался, сколько же ей лет, она ответила, уставя на него воспаленные глаза: «А девяносто два годика, милый друг, в Успеньев день родилась».

Уличная калитка полностью не открывалась, Катанугину всякий раз приходилось с трудом продираться сквозь нее, однако починить ее он так и не собрался, чувствуя себя здесь временным жителем и предощущая скорое получение квартиры.

В то утро прошел веселый бойкий дождик, и теперь все вокруг сверкало и лоснилось на солнце. Катанугин бодро шлепал по слякотной тропинке мимо лоснящихся умытых изб, мимо разросшейся, влажно пахучей сирени, склоненной на глухие заборы, мимо просмоленных телеграфных столбов, притянутых цепкими железными скобами к бетонным стоякам,

и на его скользкие шаги предупредительно ворчали собаки из подворотен. Неся в душе груз забот, он смотрел на деревья, мокрые после дождя, смотрел на воду, когда шел по мосту, видел, как бабы полощут белье на плоту, причаленном к берегу, видел кустики в травянистой пойме и рыболова, в будний день азартно заматывающего катушку своего спиннинга, видел свободно парящих птиц в небе, и мало-помалу ему становилось досадно, что он должен принести это прекрасное утро в жертву своекорыстным расчетам и неотложным делам. Ему хотелось оставить все, и работу, и семью, как поступали апостолы, призванные Христом, и уехать куда-нибудь в лес, но он понимал, что это невозможно, и поэтому с досады закурил сигарету из пачки, купленной вчера вечером после того, как он решил бросить курить. На площади у обелиска и на главной улице, пока шел по ней мимо кинотеатра, книжного магазина, ателье, он встретился и разминулся с десятками людей, знакомых только по этой утренней пешей ходьбе на работу. Ближе он их не знал и не стремился узнать.

Поднимаясь по крутой, в тридцать ступенек, лестнице домоуправления на второй этаж, он подгонял себя, поторапливал, взбадривал, зная, что если опять оробеет, как и полагается просителю в казенном заведении, если опять начнет мысленно конструировать предстоящий разговор, то опять повернется и уйдет, наперед уверенный, что все его хлопоты – пустая суетня; лучше уж действовать натиском, наглостью.

Аделаида Семеновна Барановская пыталась, держа под мышкой увесистую, чугунную, каслинского литья, скульптуру легавой собаки, протиснуться в узкую дверь своего кабинета, боком, ужавшись, как пшеничный колоб под скалкой, и как раз в это-то время Савелий и появился в приемной – опять некстати, вынужденный наблюдать эту забавную картину и робея помочь; упавшим, извиняющимся голосом он поздоровался, но ему не ответили. Наконец Аделаида Семеновна ввалилась в кабинет, грузно, как пласт сырой глины, и, очутившись на просторе, груженной шхуной проплыла в проливе между стеной и канцелярским столом к низенькой этажерке и осторожно поставила скульптуру на верхнюю полку. Савелий притулился у дверного косяка, выжидая, пока на него обратят внимание. Когда Аделаида Семеновна величественно опустилась в кресло, положив на полированный стол круглые, в веснушках, пожилые руки, и спросила, по какому он вопросу, он, изобразив на лице почтительность, подошел к ее столу, сел без приглашения на стул и, почувствовав от этой дерзости прилив нагловатого энтузиазма, твердо сказал:

– Я к вам, Аделаида Семеновна, вот по какому вопросу. Вы помните, я был уже у вас на приеме. Живу, понимаете, с женой и ребенком в аварийном помещении. Живу уже восемь лет, все это время квартирую у старушек. Три года назад женился, и теперь уже скитаюсь не один, а с женой и с ребенком. Я ведь еще и не прописан: эта новая домовладелица отказывается нас прописать. А я ведь специалист в общем-то, работаю слесарем на ремонтно-механическом заводе, на хорошем счету у начальства. Жена пока не работает, она в декретном отпуске, но она учительница и тоже считается – молодой специалист. Вы мне в прошлый раз обещали, что моя просьба насчет квартиры будет рассмотрена на заседании исполнительного комитета. Оно уже состоялось в прошлый вторник. Вот я и пришел узнать...

– Что я вам могу сказать? – риторически спросила Аделаида Семеновна, солидно глядя на Савелия. – Да, мы ваше дело рассматривали, утвердили. Постановили дать вам комнату с кухней, тридцать два квадратных метра, на улице Первомайской. Большая комната, как видите. Есть газ, водопровод. Но... – Тут она сделала значительную паузу. – Но дело в том, что там прописана одна старушка, она теперь в другом городе, за квартиру платит, но не живет в ней уже шесть месяцев. Срок платежа истек, и по нашему законодательству мы можем

отобрать у нее эту комнату судебным порядком. Ее точного адреса в другом городе я еще не знаю. Этим как раз сейчас и занимаюсь – разыскиваю через паспортный стол. Так что вам надо подождать. Дело ваше рассмотрено, есть соответствующее постановление, так что вы не беспокойтесь. Я думаю, эту квартиру, то есть комнату, мы отдадим вам.

– А ордер?.. – спросил Савелий, тайно казня себя за то, что нахален с женщиной, которая затратила столько сил и энергии, чтобы обеспечить его жильем.

– Ордер мы вам дать не можем, по крайней мере сейчас. Подождите. Ведь в комнате еще и мебель, и посуда. А уж потом, когда суд решит, мы вам с удовольствием вручим ключи и ордер. Так что потерпите, молодой человек.

– Спасибо, Аделаида Семеновна. Вы так внимательны к моему делу, что мне стыдно. Простите за беспокойство. Я уж попрошу вас – проследите, пожалуйста, чтобы этот вопрос решили поскорей, а то, сами понимаете, жена, ребенок...

– Да, конечно, это наша работа.

– До свидания, Аделаида Семеновна.

– До свидания.

Савелий вышел на улицу и влился в пестрый поток прохожих с радостным ощущением, что преодолел-таки себя, проявил твердость и напористость – и вот результат: ему дали квартиру. Вечером он расскажет об этом жене, и они немножко помечтают, как будут жить в новой квартире, уютной, обставленной, с газом и водопроводом; у них появится, наконец, свой угол, свой райский шалаш, крыша над головой, жизненное пространство, независимость. Возможно, въезд в новую квартиру состоится еще не скоро, но это ничего, это пустяки. Выше голову, Савелий! Однако, черт возьми, часы показывают уже половину десятого, а в девять ему полагается быть на работе.

Глава вторая, от Савелия

Полько – это поле, уже лет десять не паханное, не сеянное, отдыхавшее под паром. Оно тянулось от нашей бани до дороги на Гариль, окруженное с одного конца деревенскими огородами, а с другого – еловым подлеском. В этом подлеске, в густой жесткой белесой траве росли белые грибы и рыжики. Мать говорила: «Сходи под Полько, принеси хоть три гриба – нажарим». Я уходил и через пятнадцать минут возвращался с полным лукошком: грибов было много.

Глава третья, от Савелия

Севернее деревни когда-то был дремучий лес, дебри. Но лет сорок назад случился пожар и лес выгорел. С тех пор это место называют Гариль. Гариль изобиловала всевозможными грибами; веселый крупный березняк чередовался с мшистым ельником, густо разросшиеся вырубki – с овальными свежими полянами. Я любил бродить по той части Гарили, которая была расположена между двумя дорогами, – Летней и Зимней: в этом случае я был уверен, что не заблужусь.

Глава четвертая, от Савелия

Весной меня дразнили влажные запахи и теплый солнечный блеск. Сидя на завалине, я строгал тупым хлебным ножом кораблик, втыкал спичечные мачты и натягивал бумажные паруса, – и вот неуклюжее, кособокое судно, заваливаясь на борт от первого дуновения, черпая палубой грязную воду огромной лужи, плыло, поминутно застревая то в кусках искрошенного льда, то в мусоре, поднятом талыми водами. Изящные, легкие, стойкие кораблики у меня никогда не получались; я смертельно завидовал тем, у кого были фабричные, пластмассовые, с рулевым управлением и каютой: они скользили как настоящие. Я перепортил много досок, возле завалины валялись стружки, мне то и дело доставалось от родителей за то, что уносил кухонный нож, но все равно я работал упорно, надеясь выстрогать такой линкор, какого не было ни у кого: пусть позавидуют. Однако когда все деревенские собирались на большой луже – напротив нашего дома – каждый со своим корабликом, я видел, что мой не самый лучший. Это огорчало, я торопился по ручейку переехать в соседнюю лужу, где никто не плавал, и там, один, ходил по кругу, глядя, как сзади кораблика расходятся торопливые волны, совсем как у настоящего катера, с шуршанием набегая на берега. Я представлял, что вон та щепка – это вовсе не щепка, а опасный риф, и я ловко и осторожно, с риском погибнуть, обхожу его.

Наш дом стоял на краю деревни, почти под Польком; возле бани уже росли набегавшие группами можжевельниковые кусты, а дальше, в пятнадцати метрах, начинался лес. Проезжая дорога шла чуть заметно под уклон, сбегая к деревянному мостику, а затем снова взбиралась вверх и вела в Леваш. Весной, бурно тая, мутные дорожные воды легко бежали к речке. Я любил, выйдя из дому в радостном предвкушении, опустить кораблик или, если его не было, легкую щепку в ручеек и идти рядом, неотрывно наблюдая, как она то плавно кружится в широкой луже, то устремляется в узкую бурливую протоку, то исчезает под коркой заледевшего снега, и тогда я останавливался и смотрел, откуда она выплывет. Я задавался целью пройти вместе с корабликом от своего дома до реки, и когда он, колыхаясь и повертываясь в речной паводковой воде цвета чайной заварки, уносился за поворот и терялся из виду, я возвращался грустный, опечаленный, притихший: ведь я столько раз помогал ему выплыть, когда он застревал.

Глава пятая, от рассказчика. Легко ли быть талантливым

Я тогда работал директором дома культуры. Назначили меня впопыхах, не посмотрев хорошенько, что я за человек, только потому, что у меня был диплом выпускника ГИТИСа; а человек я вредный и упрямый. В подвале была расположена художественная мастерская, забитая транспарантами, плакатами и всяким стародавним хламом; там стояли поломанные мольберты, этюдники, ящики с ссохшимися до омерзения красками да кое-какие безделушки. Я подумал, что его можно было бы пригласить оформителем, не ахти сколь сложная работа – напечатать афишку, привести в порядок инвентарь да иногда помочь в постановке концерта, но Дина воспротивилась, ссылаясь на то, что мы начнем пьянствовать (а мы и вправду частенько собирались в мастерской то вдвоем, то с ребятами из городского инструментального ансамбля); да и зарплата оформителя ее, похоже, не устраивала: женщины – такие сладкоежки, а на те восемьдесят рублей, которые он стал бы получать, не слишком-то отъешься. Он опять уступил ей, остался в своем слесарном цеху, а тут как раз я познакомился с Зиной Майоровой, приехавшей на вольные хлеба в наш город с юга, и принял ее на эту должность, хотя с практической точки зрения я совершил глупость, потому что она хоть и хвастала, что рисует, в сущности ничего не умела, я сам по-прежнему печатал афишки и оформлял спектакли, а она либо целыми днями болталась по магазинам, либо я отправлял ее к себе на квартиру, чтобы она приготовила что-нибудь поесть. В общем, жили мы довольно дружно; она, правда, иногда устраивала сцены, но это потому, что я не проявлял большой охоты жениться на ней. Она бесилась, но я еще помнил, из-за чего развелся со своей первой женой, поэтому считал, что так лучше для нас обоих: она свободна от меня уйти, я в свою очередь – тоже, без хлопот, без тревожений, без судебных разбирательств. Она славная женщина, веселая, кокетливая, без всякой привычки к домоводству; такая, очевидно, мне и нужна.

И вот когда мы с ним уединялись в мастерской за бутылкой вина, он, помню, все спрашивал, как я лажу с Зиной. Я отвечал, что нормально: несколько ласковых комплиментов, приветливый поцелуй, и чтобы кошелек у нее, не приведи господи, не пустовал. Он слушал, открыв рот, а потом жаловался, что не знает, как быть: Дина сердится и все чего-то требует, и он совсем запутался, не зная, что предпринять, чтобы и ему и ей было хорошо вместе. Я утешал его, что се ля ви такая, все течет, изменяется, переходит в свою противоположность, что, пожалуй, ему не следовало жениться, а раз уж женился, то надо как-то устроиваться, а как именно – на этот счет у каждой семьи свои уловки; прежде всего, говорил я ему, не надо дергаться и суетиться, надо сохранять бодрость духа, шутить и улыбаться, улыбаться, даже если ты при смерти; с женой достаточно получасового общения перед сном, говорил я, а все остальное время должно быть задействовано так, чтобы в голове не оставалось праздных мыслей.

Однажды, помню, он пришел сразу после работы, взял картон, карандаш и стал срисовывать голову Аполлона. У меня в этот вечер был концерт, я выступил в одном непритязательном номере, снискав шумные аплодисменты, и, улучив минуту, спустился к нему в мастерскую. Смотрю – сидит на стуле (вверху жужжит, как муха под стеклянным колпаком, люминесцентная лампа), а напротив, на табурете, установлена эта античная кудрявая голова; и вот он ее срисовывает, сердится, штрихи дрожащие, неуверенные, выводит, как первоклашка, вкривь и вкось, а на полу уже три испорченных картона валяются, и не понятно, что на них, – то ли баран-меринос, то ли старуха в чепце, то ли Горгона, – все, что угодно, только не Аполлон. Я наблюдал за его потугами, стоя в дверях, а потом не выдержал – расхохотался. «Ну, говорю,

братец, ты даешь! Что это у тебя, покажи!» – Он застыдился и вроде даже рассердился, но ответил, что вот-де пробует рисовать, а я ему, снова не сдержавшись и не понимая, что наношу оскорбление: «Дерзай, говорю, Ван-Гог тоже начал поздно. У него в этих ранних углекопках ни жизни, ни динамики, но ведь добился-таки своего человек!» – Он промолчал, и я не стал больше об этом говорить; поболтали о том о сем, как обычно, и он, помню, сказал, что талантливым людям легко живется: «Вот тебе, спрашивает, каково? Ты ведь талантливый актер, не подумай, что лыщу, – тебе каково живется?» – И я с усмешечкой ответил, что все бы хорошо, да труппа у меня больно мала и безграмотна, им что Шекспир, что Вампилов, что репертуарный сборник художественной самодеятельности – никакой разницы. И тут он говорит: «Ты напрасно так. Если бы я что-нибудь умел, я не стал бы жаловаться, потому что внутри у меня, в душе было бы самодовлеющее начало (он так и выразился: самодовлеющее). Я бы, говорит, не обращал внимания ни на что». Я на это ему сказал: «Попробуй!» А он ответил, что не чувствует за собой никаких достоинств, хотя часто хочется сотворить что-нибудь этакое, от чего все ахнут. А как это сделать, он не знает, и поэтому, говорит, завидую тебе. Я рассмеялся, потому что было приятно, что хоть он-то считает меня талантливым, и сказал, что завидовать тут нечему: я и директор, и режиссер, и актер, и оформитель, кручусь, как белка в колесе, на голом энтузиазме. Когда полгода назад я готовил художественную выставку в доме культуры, приходилось воевать за каждую картину, за каждый рисунок, который предлагали местные художники или присылали мои друзья из Москвы. Приятные хлопоты, что и говорить, хоть и платить подчас приходилось из своего кармана. И что же? Мне же впоследствии дали по шапке за то, что не посоветовался с заведующим отделом культуры, прежде чем решиться на столь крупную акцию. Впрочем, я довольно ловко выкрутился, сказав, что нынче повсеместно низовым организациям предоставлена относительная самостоятельность. «То-то и оно, что относительная, – сказал секретарь горкома партии Лев Кузьмич Голованов. – Если мы предоставим дому культуры самостоятельность, то вынуждены будем перевести его на хозрасчет, – это будет логично. Но что получится? Ничего не получится, прогорит твой рассадник культуры за один месяц». Так вот, тогда у меня набралось почти пятьдесят картин и рисунков, половина из них даже не была обрамлена, и я нанимал столяра. Штук десять картин, избранное из своей мазни, выставил Венька Толтухин, местный художник. Районная газета поместила статью, посвященную творчеству (ах, черт возьми, слово-то какое!), творчеству Вениамина Алексеевича Толтухина, назвав его певцом нашего края. Так что, братец, суди сам, легко ли быть талантливым. Высасывает все соки из меня эта работа.

Говорил я, говорил, но чувствую, что не сумел его убедить. У меня оставались еще три картины из тех, что не были отосланы. Эти картины я и показал, когда мы пришли на квартиру. Он постоял, посмотрел и говорит:

– Да, здорово сделано. А какое направление?

Я ответил, что не знаю, плохо я разбираюсь в этих направлениях, но видно, что писано как бог на душу положит, поэтому и получилась не сухомятина какая-нибудь, а настоящее.

Потом мы выпили кофе, он молчит, и я молчу, но чувствую, что заело его, заколодило, появилась у парня ревность к предшественникам на стезе изобразительного искусства. Перед уходом он попросил у меня картонов, да так настойчиво, сердито, что мне опять смешно стало. Но я виду не подал, предложил даже в придачу кисти и краски, но он не взял: надо, говорит, сперва научиться рисовать. Тут я опять не сдержался и говорю:

– Давай, брат, дерзай! Ван-Гог-то тоже сперва карандашом да углем рисовал.

Вижу, покорило его, но проглотил пилюлю. А меня так и подмывало еще что-нибудь хлесткое сказать, не знаю, право, почему, – дурацкий характер; обидеть, наверно, хотел, чтобы не совался не в свое дело, не пыжился понапрасну, как жаба, которая с волом захотела сравниться. Однако я себя попридержал, пожалел его, решил, что все это у него дурь и, как всякая дурь, скоро выскочит из головы. Но все оказалось не так-то просто.

Хорошо помню, что это было на следующий день после дождя. Савелий, после того как мы расстались, не заявлялся недели две, никак не меньше, а я в хлопотах и в суете не слишком беспокоился об этом; и правильно делал, как потом выяснилось. Это Дина должна была беспокоиться, а не я. Она прибежала ко мне...

Впрочем, все по порядку.

Дождь был, конечно, необыкновенный: старожилы такого не видели лет тридцать. Наползла с юга черная смурая туча; ни ветра не было, ни каких других предвестий грозы. Я в это время сидел у себя в кабинете. Вдруг сразу потемнело и гроыхнуло так, что на столе пресс-папье подскочило; ну, и я тоже вздрогнул. Потом часто-часто забарабанило по стеклу и потекло грязными, зеленовато-бурыми струями. Я подумал, что в окно комком грязи бросили: были и такие среди моих врагов, которые могли подобным образом выразить свое презрение; а может, просто ребячьи. Пока я к окну подходил, оно уже совсем побурело, ничего за ним не видать, – все равно как в общественной уборной, когда его краской замазывают, чтобы с улицы не было видно, кто мочится. Подхожу и открываю настежь. Бог ты мой! В нос сразу ударило запахом жидкого навоза, а глаза, губы и нос залепило чем-то терпко пахучим. Стою недоуменный, не понимаю, что к чему, а потом, когда обтерся и на руки взглянул, понял, что коровье дерьмо, натуральное, только пожиже. Но все еще глазам не верю; руки понюхал – и точно: навоз, так и разит скотным двором. Белую рубашку и костюм выходной, единственный, – все унавозил, по телу течет, гадко, противно. Отшатнулся – с рук стекает на пол, а на улице, вижу, черт те что творится: люди бегут врассыпную, лиловато-зеленые, прячутся кто где, на автобусной остановке жмутся под зонтиками, как овцы, из водосточной трубы на асфальт хлещет навозная жижа, а по тротуару, совсем растерянная, сторбленная, семенит старушонка: идет-идет, на небо посмотрит, обмаранное лицо вытрет ладошкой, перекрестится и опять идет, мокрая, жалкая: платок у нее к волосам прилип, изгаженный, с сизым отливом, как крыло жука-навозника. Машины хлюпают по липкой мостовой, колеса пробуксовывают в дерьме, а напротив моего окна, там, где многоэтажный жилой дом, какая-то хозяйка неглиже выскочила на балкон и давай снимать позеленевшие простынки, а мне видно, как ее голые руки залепляет жидкий навоз, тинистый, прилипчивый. Не кажется ли мне все это? Но гром гремел, люди разбегались торопливо-скользкими прыжками, низвергались желтовато-серые, как застойная моча, потоки дождя, пахло густо, головокружительно, да и сам я, обмаравшийся с головы до ног, пах как конюх, – все это было очень уж явственно. Дождь лил три часа, пока тротуары не превратились в реки коровьей мочи, пока все дома не побурели, как старые грибы, а я все смотрел, время от времени суя пальцы в рот, чтобы выблеваться, и не мог оторваться от этого смрадного зрелища. И вот примерно через два часа после того, как начался этот невиданный дождь, какого долгожители не помнят лет тридцать, по улице, зарываясь буфером в желтую волну, проехали, завывая сиренами (хотя сторониться было некому: движение прекратилось), две пожарные машины, которые, как я потом узнал, направлялись в микрорайон, потому что там одна, еще молодая женщина, впад в истерическое состояние, вскарабкалась на карниз девятиэтажного дома и, прокричав оттуда: «Люди! Конец света пришел, молитесь!» – прыгнула вниз, но зацепилась юбкой за прутья балкона и повисла, как сонная летучая мышь. Через три часа дождь оборвался, выглянуло тихое умытое солнце, и ласковая тишина

водрузилась над городом, как стяг. На следующий день городской исполнительный комитет назначил массовый субботник по благоустройству территории, а местная газета, отпечатанная на бумаге цвета детского поноса, сообщила читателям, что неслыханный дождь, а затем и кратковременное наводнение не принесли городу значительного материального ущерба и человеческих жертв и что сегодня, писала газета, труженики города вновь встали на вахту по достойной встрече тридцать восьмой сессии городского исполнительного комитета. Газета сообщила также о том, что причина столь редкого явления природы заключалась в следующем: в соседнем районе на животноводческую ферму в две тысячи голов обрушился сильный вихрь, который поднял в воздух десять тысяч кубометров навоза и мочи из открытого жижесборника (причем железобетонные стены и дно оказались вычищены досуха): аккумулировавшись в грозовую тучу, содержимое колхозного жижесборника пролилось затем на город в виде дождя, и ничего удивительного или сверхъестественного в этом нет: подобные случаи наблюдались и прежде в некоторых странах мира.

Так вот, после этого дождя на следующий день Дина пришла ко мне (я опять сидел в кабинете, готовясь к отчетному докладу на предстоящей сессии исполнительного комитета); и я понял, что, очевидно, с Савелием что-то случилось. Она еще с порога спросила, не приходил ли он, я сказал, что нет, пригласил ее сесть и попросил рассказать, что произошло. Оказывается, получив картонки, он каждый вечер после работы садился рисовать, рисовал ее и ребенка, пятимесячного Максима, пейзажи с тихими речками и заходящим солнцем («Пейзажи, – сказала она, – мне больше всего понравились»), рисовал две недели, каждый вечер, запоем, вместо того чтобы помочь ей по хозяйству. Как-то раз она послала его полоскать выстиранные ползунки, он пошел, но вернулся злой, и они поругались: она упрекала его в том, что он не хочет ей помочь и, следовательно, не любит, а он кричал, что ненавидит все это, и ползунки, и этого засранца Максима, и драные обои, и трухлявые стены, и ее, уж если на то пошло, потому что все это мешает ему заниматься творчеством, а между тем в нем, может быть, пропадает Ван-Гог, и что в конечном счете смысл жизни в том, чтобы выразить себя, освободившись от всяческих пут, и что она, заставляя его стирать, носить воду и все такое прочее, становится поперек его дороги, а раз так, то он лучше разведется, чем станет жить под одной кровлей с человеком, который не хочет ему добра; а она отвечала, что ей тоже хочется быть свободной, почитать книгу или посмотреть фильм и что он, видно, этого не понимает, эгоист, себялюбец, белоручка, – а он возражал, размахивая руками, что лучшие из жен вообще должны понять, что приносят себя в жертву, когда вступают в брак, и это естественно, а если она не согласна быть жертвой, то пусть убегает, он не станет ее удерживать; оба кричали, ребенок ревел, как саксофон, и вся сцена была очень шумной, а потом они целый вечер не разговаривали, и он, насупленный, опять рисовал деревенские виды, но у него получалось плохо, блекло, поэтому он сердился, рвал рисунки и швырял их в помойное ведро. Вот так они и маялись две недели, ни на йоту не уступая друг другу. И тут она упрекнула меня за то, что я дал ему эти злосчастные картонки, но я сказал, что не предвидел последствий и думал, что эти его художнические поползновения скоро пройдут. Полагая, что она пришла затем, чтобы я больше ничего ему не давал, я извинился и обещал ей это, но она сказала, что это еще не все, и продолжала. За день до дождя они примирились, и она воспользовалась этим, чтобы отправить его в домоуправление похлопотать насчет квартиры. Он ушел. А вечером возвратился с работы необычайно угрюмым, таким она его еще не видела; ничего не объясняя, хотя она его спрашивала, переоделся, надев свитер и джинсы, как всегда, когда уходил на рыбалку; она сказала, чтобы он никуда не уходил: сегодня надо купать Максима, а завтра идти на работу, и вообще, почему это он решил удирать из дому не только в выходные, но и в будни, может, у него любовница завелась, а если так, пусть лучше совсем уходит. Он на это ничего не ответил, только поцеловал Максима в лобик, как целуют покойников, и она опять удивилась, потому что раньше он почти

не проявлял отцовских чувств. Ни слова не говоря, он вышел и (она увидела из окна) направился к сараю: там у него хранились рыболовные снасти, – а через минуту появился опять, неся удочку и топор. Увидев, что он несет топор, она очень испугалась, так что ноги затряслись в коленках, выбежала на улицу и, бросившись ему на шею, завопила, что пусть он убьет только ее, а Максимку не трогает; а он оттолкнул ее и сказал: «Дура!»; и тогда она подумала, что он хочет себя порешить, и опять завопила, чтобы он этого не делал, а он сурово посмотрел и сказал: «Почему?» Тут с ней случился то ли обморок, то ли еще что, но, в общем, она ничего не помнит; помнит только, что очнулась на кровати, а он сидел возле и давал ей нюхать пузырек с нашатырным спиртом, а когда заметил, что она очнулась, опять, ни слова не говоря, встал и ушел. И больше она его не видела. А на следующий день начался этот ливень, и она не смогла выбраться из дому, потому что все затопило; пила валерьянку и нянчилась с Максимом, решив, что он сразу после рыбалки ушел на работу. Но он не вернулся ни вечером, ни на следующий день. Поэтому она пришла сюда, подумав, что он, может быть, здесь: он здесь часто бывает.

– Я не знаю, что теперь делать, – заключила она.

– Он взял топор и удочку? – спросил я.

– Да.

– И рисовал деревенские виды?

– Да.

– Я постараюсь его найти, Дина.

Глава шестая, от Савелия

Летом купаться было негде. Всюду, в самых глубоких местах, воды было по колено; даже в Дальней Ляге, глубоком плесе, которое находилось в двух километрах от деревни, и там намело столько песку, что образовался бархан, выпирающий из воды. А купаться хотелось. И мы решили строить запруду.

Наташив лопат и топоров, мы принялись копать дерн и рубить колья в перелеске. С самого утра, с девяти часов, припекало так, что приходилось время от времени мочить голову в реке, чтобы охладить темя. Дерн был вялый, луговой, кое-где еще влажный, потому что там, где мы копали, весной разливалась старица, которая высыхала нескоро, к середине лета, заглущенная купальницами и осокой. Мамай и Васька орудовали в лесу; было слышно, как стучат топоры. Вовка тоже порывался идти с ними, но ему не разрешили, а копать землю он не хотел – лежал на солнечном пригорке, подстелив рубаху на сплошной ковер кошачьих лапок, и демонстративно загорал.

– Мы тебя не пустим купаться, – враждебно сказал Мамай, деловито таща из перелеска кривые колья.

– Ха! Не пустите! Сейчас Гришка придет, тогда и посмотрим, пустите или не пустите.

Гришка был старший брат Вовки.

– Не боимся мы твоего Гришки.

– Заботесь. Он сейчас тоже придет строить запруду. Я ему скажу, что вы меня не пустили. Он вам покажет.

– Ну и говори, ябеда!

Через полчаса пришли остальные деревенские ребята, Вовка еще немного покобенился для приличия, но не выдержал общего осуждения и принялся подносить дернины к берегу, складывая их там. Я устал копать, стерев руки до крови. Вовка заменил меня, а я стал отгаскивать тяжелые пластушины. Пот валился градом. Солнце пекло. Во рту пересохло.

После небольшого перекура на пригорке (все затаились по одному разу) было решено начать перекрытие. Мамай забрел в воду на быстрине, – берега в этом месте были высокие, – и стал забивать посредине русла первый кол. Ему помогали советами:

– Ты от берега начинай – чего ты посередке вышел!

– Да ты другой кол возьми, покрепче!

– Глубже забивай! Дай-ка я, ты не умеешь!

– Может, там камень, на дне-то. Надо было посмотреть.

Мамай, серьезный, огрызаясь на замечания, бил и бил сверху обухом; первая свая шла туго. Нетерпеливые прыгали в воду, деловито расшатывали кол.

– Слабо забил. Большая вода будет – всю запруду унесет.

У берега, путаясь в осоке, Гришка забивал уже второй кол. Было решено перегородить реку двумя параллельными рядами кольев, а в середину набросать дерну и утрамбовать. Работа кипела. Замутилась вода, взбаламученная множеством ног. Берег стал липким от воды и грязи. Кряхтя, высунув языки, нам помогали малыши: возились с дернинами, прижимая их к животам; по ногам и пипкам текла жидкая грязь.

– Куда ты прешь, дурак! – кричал на кого-то Мамай. – Смотри, всю дернину переломал, такая была хорошая дернина.

Наконец колья были забиты плотной изгородью, вода сердито пробегала в узких щелях. Начали перекрытие. Работали несмекалисто, нерасчетливо: каждый, с трудом да кое-как, выходил на берег, брал дернину и, тужась, на ягодицах съезжал обратно, чтобы уложить ее собственноручно и затоптать. Несколько кольев перекошились, сбитые в сутолоке. Ключки земли, оплетенные травянистыми корнями, уносились по течению. Вода то тут, то там подтачивала запруду, течь по верху она не хотела. Но мы бросали и затапывали, бросали и затапывали. Перед запрудой встревоженная прибывающая вода ходила вкруговую, а сзади вытекала тоненькой струйкой: там сделалось необычайно мелко. Мы торжествовали победу. Дерна уже набросали вровень с берегами: колья торчали как раз настолько, чтобы при переходе на другой берег за них можно было ухватиться. Я ежеминутно сновал туда – обратно ради удовольствия почувствовать под ногами упругое тело плотины. Вода прибывала. Перепачканные, усталые, мы живо обменивались замечаниями насчет того, какая будет глубокая вода, не сделать ли обводной канал, не прорвет ли запруду, как много будет рыбы в верховьях, а может, и не будет, потому что ей ведь надо подниматься с низу, а запруда помешает...

Солнце палило нещадно. Решено было искупаться. С жару и с поту мы ныряли друг за другом, и каждый, выныривая и отплеываясь, шумно восторгался, что стало глубоко. Нашли место, где скрывало с головой; все ходили туда мерить и орали. Валерка, полуодетый, стоял на берегу: он трусил купаться. Васька, с мокрым, чистым, радостным лицом, брызгал в него водой и грозил:

– Сейчас выйду – сброшу в одежде.

– Я сам сейчас буду купаться, только разденусь...

– Трус ты!..

Мамай выскочил на берег и, лоснящийся, жирный, тряс толстыми дряблыми мышцами, злорадствуя, схватил Валерку.

– Васька, ну-ка помогай – сейчас мы его искупаем!

Ваське было жаль Валерку, но он подчинился. Они схватили его под руки и поволокли; Валерка упирался, извивался и плакал, а на берегу поскользнулся и упал в воду, увлекая за собой обидчиков. Слегка захлебнувшись, очумелый, долго откашливался, а когда выполз

на берег, растерянный, в мокрых прилипших штанах, выглядел жалким и брошенным, как курица под дождем.

Вовка, густо перемазавшись глиной, изображал индейца: он вопя бегал по берегу и метал березовую вицу, отточенную спереди, стараясь, чтобы она воткнулась.

Вода уже переливала через верх запруды, бежала лугом, растекалась по высохшей старице. Пока Мамай, как жирный боров в луже, ворочался в плесе, подминая и топя малышей, вода подкралась к его одежде, замочила рубаху и залилась в ботинок.

Я купался в сторонке, потому что боялся расхившегося Мамай: я был мальчик робкий, тихий и трусливый. На середину плеса я не выходил, потому что там стало глубоко, да и вода была желтой, перебалаченной с донным песком. Я выплывал вверх по течению на чистую воду, ложился на спину и, скосив глаза, чтобы не напороться на берег, медленно перебирая ногами, чтобы только держаться на поверхности, тихо плыл один. Все то, что делали другие, я тоже любил делать, но не на виду, а тайно, втихомолку, наслаждаясь внутри себя, без горделивых криков, без показных прыжков с нырялки, без суеты и спешки. Я плыл в незамутненной чистой воде, руки то и дело задевали стрельчатые, острые листья осоки, со дна, щекоча тело, поднимался потревоженный холодный ил. Я проплывал всю протоку до следующего плеса, но там мне опять становилось страшно при виде коряг, разбросанных по дну и проросших темно-зеленой тиной. Я боязливо возвращался на саженьках туда, в коричневую муть, туда, где ошалело бегали по берегу, бултыхались, вздымая брызги, кричали, играли в пятнашки.

Глава седьмая, от Савелия

По берегам реки на всем ее протяжении росли черемухи. По вечерам в мае, когда травянистую пойму заливало мглой и купы деревьев рисовались темными призраками, я спускался к реке, чтобы постоять над тихой водой. Последние звуки плавали в благорастворенной тишине – сонный крик птицы, скрип колодезного барабана. Воздух пах черемуховым цветом; над водой этот запах был густой и мокрый, он садился на лицо, как распыленный пульверизатором цветочный настой, и щекотал ноздри. Я шел мокрым лугом к запруде и в перелеске, пугаясь шорохов, находил низкорослую черемуху; я ломал цветущие ветки, осыпаясь лепестками, и, сложив букет, погружал туда свой нос. Пахло чудно. То ли счастливый, то ли грустный, я возвращался домой огородами, потому что идти с букетом по улице стыдился. Прокрадывался в спящий дом, боясь скрипнуть половицей, воровски, на цыпочках пробирался на кухню, на ощупь находил в посуднике стеклянную банку, наливал в нее воды и ставил цветы. Они смутно, печально белели в сером сумраке.

Утром, просыпаясь, я глазами искал их на подоконнике и не обнаруживал: мать выбрасывала их на помойку, потому что от них болит голова.

Глава восьмая, от Савелия

В августе мы с Вовкой часто убегали к запруде, но не затем, чтобы искупаться (вода становилась уже холодной), а чтобы поесть созревшей черемухи. Встав под черемухой, мы задирали головы вверх: там золотились желтыми блестками черные крупные ягоды.

– Я полезу вот на эту.

– А я вон на ту – на той больше ягод.

– На нее не залезть.

– Не залезть? В два счета!

Я, поплевав на руки, обнимал гладкий ствол и лез до первой развилки; там располагался поудобнее и спрашивал торжествующе:

– Ну что? Вот и залез.

Я был мастер лазить по деревьям и телеграфным столбам. Вовка вскарабкивался на соседнюю черемуху, и мы, рассевшись на близких ветвях, ели ягоды и перебрасывались замечаниями.

– Ты с косточками ешь?

– Нет, я выплевываю: они не переварятся.

– Ну и что! Зато сытнее. Пока обсасываешь каждую ягодку – с голоду помрешь.

Ягоды были спелые и сладкие; темно-фиолетовая блестящая кожурка лопалась под языком, и сквозь пушистую мякоть я чувствовал ребристую косточку; поваляв ее во рту, я сплевывал, стараясь попасть в намеченный листик. Листья трепетали под ветром, и прыгающие солнечные блики щекотали лицо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.